

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ РАССКАЗЫ

СБОРНИК

**Удмуртское
Государственное Издательство
Ижевск — 1937**

pa
A-7h

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ
РАССКАЗЫ
СБОРНИК

1937 г.

1859 м. в. л.

А. В. С.

1949

Просмотрено
Уполн. *31/VIII 37*
Удм. АССР
В. С. С.

Копия
в
шептал
д.

УДМУРТСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЖЕВСК — 1937

Проповедник Диомидов

*Отрывок из четвертого тома романа
М. Горького „Клим Самгин“*

— Проповедник публичный прибыл к нам братец Демид, — не слышали о таком? Замечательно говорит. Иду послушать.

Самгин, чувствуя себя отдохнувшим, спросил:

— Мне — можно?

— Да — сделайте милость! — ответил Фроленков с радостью. — Тут — близко, почти рядом!

Через несколько минут Самгин оказался в комнате, где собралось несколько десятков людей, человек 30 сидели на стульях и скамьях, на подоконниках трех окон, остальные стояли плечо к плечу друг другу настолько тесно, что Фроленков с трудом протискался вперед, нашептывая строго, как человек власть имущий:

— Посторонись! Пропусти. .

Комната служила, должно быть, какой-то канцелярией, две лампы висели под потолком, освещая головы людей, на стенах „документы“ в рамках, на задней стене (неразборч.) и портрет царя.

Фроленков провел в первый ряд. Он пошептал в ухо лысому старичку, тот покорно освободил стул. Самгин сел, протер запотевшие очки, надел их и тотчас опустил голову. Прижатый к стене маленьким столом, опираясь на него

руками и точно готовясь перепрыгнуть через стол, изогнулся седоволосый Диомидов в белой рубахе, с расстегнутым воротом, с черным крестом, вышитым на груди, а над столом показывался большой, вершков трех золоченый или медный крест, висевший на серебряной шейной цепочке, задевая узкую седую бороду, она отросла еще длинней.

Глухим, бесцветным голосом он печально говорил:

— Люди Иисуса Христа, царя и бога нашего миродавца, миролюбца, принявшего смерть за ны при Понтийстем Пилате, и страдавца, и погребенна, и воскресшаго...

Белизна рубахи резко оттеняла землистую кожу сухого, костлявого лица и круглую, черную дыру беззубого рта, подчеркнутую седыми волосами жиденьких усов. Голубые глаза проповедника потеряли былую ясность и казались маленькими, точно глаза подростка, но это, вероятно, потому, что они ушли глубоко в глазницы.

— Узнает? — соображал Самгин, не желая, чтобы Диомидов узнал его, затем подумал, что этот человек наверное сознательно делает себя похожим на икону Василия Блаженного.

— И от Христа мы, рабы его, плутая в суете земной, оттолкнулись, отверглись. Что же понудило нас к этому?

Диомидов выпрямился и, потирая руками, начал говорить о „жалких соблазнах мира сего“,

о „высокомерии разума“, о „суемудрии науки“, о позорном и смертельном торжестве плоти над душой. Речь его обильно украшалась словами молитв, стихами псалмов, цитатами из церковной литературы, но нередко и чуждо в ней звучали фразы светских проповедников церковной философии.

„Разум, убийца любви к ближнему“...

„Не считает ли слово за истину эхо свое?“.

Самгин определил, что Диомидов говорит так же бесстрастно, ремесленно и привычно, как обвинители на суде произносят речи по мелким уголовным преступлениям.

— Все-таки он — верен сам себе. И богу своему, — подумал Самгин.

В комнате стоял тяжкий запах какой-то кислой сырости. Рядом с Самгиным сидел, полузакрыв глаза, большой толстый человек в поддевке, с красным лицом, почти после каждой фразы проповедника, сказанной повышенным тоном, он только краснел и уже два раза пробормотал:

— А—скажи, пожалуйста..

Диомидов начал говорить, сердито взвизгивая:

— Немцы считаются самым ученым народом в мире. Изобретательные — ватер-клозет выдумали. Христиане. И вот, они об'явили нам войну. За что? Никто этого не знает. Мы, русские, воюем только для защиты людей. У нас только Петр Первый воевал с христианами для расши-

рения земли, но этот царь был врагом бога и народ понимал его, как Ан:ихриста. Наши цари всегда воевали с язычниками, с магометанами, татарами, турками...

Откуда-то из угла, из темноты, донесся веселый, звонкий голосок:

— Против народа—тоже.

Слушатели молча плшевелились, как бы ожидая еще чего-то, и—дождались: угрюмый голос сказал:

— Однако и турок хочет спокойно жить.

Некий третий человек напомнил:

— А с японцами из за чего драку начали?

Толстый сосед Самгина встал и, махая руками, тяжелым голосом, хрипло произнес:

— Тише, публика!

Но в углу уже покpикивали:

— Ну, и—что? Ну,—сказал! Правду сказал...

— Кузнецы шумят, гвоздари, — сообщил Фроленков, появляясь сзади Самгина. — Может желаете уйти?

— Да, хотел бы...

— Скушно говорит старец, — не стесняясь произнес толстый человек и обратился к Диомидову, который стоял, воткнув руки в стол, покачиваясь, пережидая шум.

— Я тебя, почтенный, во Пскове слушал, в третьем году, ну, тогда ты—ядовито говори!л!

Диомидов искоса взглянул на него и, тряхнув бородой, обратился к женщинам, окружавшим

его, и одна из них, высокая, тощая, крикливо упрашивала:

— Скажи-ко ты нам, отец, кто это там явился около царя, мужичек какой-то расторопный?

В углу сердито выкрикивали:

— Заместо того, чтобы нас, дураков, учить—шел бы на войну, под пули, уговаривать, чтобы не дрались...

— Верно!

— Всех лошадей хороших обобрали.

Самгин торопился уйти, показалось, что Диомидов присматривается к нему, узнает его, но уйти не удавалось. Фроленкова окружали крупные бородатые люди, а Диомидов, помахивая какими-то бумажками, зажатыми в левой руке, протягивал ему правую и бормотал:

— Здравствуй, Клим. Ты еси Клим и ты — сам? Каждый есть — сам, каждая — сама. Не-ет, меня не соблазнишь... нет.

Кто-то прокричал:

— По бумажкам проповедует, глядите-ко! Бумажка... Э эх, ты, пустосвят!



Богослужение как оно есть

*Отрывок из романа Льва Толстого
„Воскресенье“*

Началось богослужение.

Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особенную странную и очень неудобную парчевую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюде и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячек же между тем не переставая сначала читал, а потом пел попеременкам с хором из арестантов разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с другими молитвами и отдельно, на коленях. Кроме того, было прочтено дьячком несколько стихов из деяний апостолов таким странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять, и священником очень внятно было прочтено место из евангелия Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего отца, явился сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал 7 бесов, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедывать

евангелие всей твари, причем об'явил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей и, если выпьет яд, то не умрет, а останется здоровым.

Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчевый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью.

„Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенней богородице“, громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем

какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюда, разрезал срединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он с'ел кусочек тела бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул занавеску, отворил средние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в средние двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови бога, находившихся в чашке.

Желающих оказалось несколько детей.

Предварительно опросив детей об их именах, священник, осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот каждому из детей поочередно по кусочку хлеба в вине, а дьячек тут же, отирая рты детям, веселым голосом пел песню о том, что дети едят тело бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и с'ев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки.

Этим закончилось главное христианское богослужение. Но священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к сбычной службе еще особенную. Особенная эта служба состояла в том, что священник, став перед предполагаемым

выкованным золоченым изображением (с черным лицом и черными руками) того самого бога, которого он ел, освещенным десятком восковых свечей, начал странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить следующие слова: „Иисусе сладчайший, апостолов славо. Иисусе мой, похвала мучеников, вкладыко всеильне, Иисусе, спаси мя, Иисусе спасе мой, Иисусе мой краснейший, к тебе притекающего, спасе Иисусе, помилуй мя, молитвами рождшия тя, всех Иисусе, святых твоих, пророк же всех, спасе мой Иисусе, и сладости райския сподоби, Иисусе человеколюбче!“

На этом он приостановился, перевел дух, перекрестился, поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель, надзиратели, арестанты и наверху особенно часто забренчали кандалы. „Ангелов творче и господи сил,—продолжал он,—Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе преблагий, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепость, Иисусе претихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладость, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречистый, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, сыне божий, помилуй мя“, добрался он, наконец, до остановки, все с большим и большим свистом

повторяя слово Иисусе, придержал рукою рясу на шелковой подкладке и, опустившись на одно колено, поклонился в землю, а хор запел последние слова: „Иисусе, сыне божий, помилуй мя“, а арестанты падали и подымались, встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя кандалами, натирившими их худые ноги.

Так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые кончались словами: „помилуй мя“, а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словом: „аллилуия“. И арестанты крестились, кланялись, падали на землю. Сначала арестанты кланялись на каждом перерыве, но потом они стали уже кланяться через раз, а то и через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились, и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шопотом ругаясь, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам, арестанты же старались поцеловать и крест и руку священника. Так кончи-

лось христианское божеслужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев...

* * *

Священник с спокойной совестью делал все то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди и теперь верят духовное и светское начальство. Он верил не в то, что из хлеба сделалось тело, что полезно для души произносить много слов или что он съел действительно кусочек бога, — в это нельзя верить, — а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное же, утверждало его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он 18 лет уже получал доходы, на которые содержал свою семью, сына в гимназии, дочь в духовном училище. Так же верил и дьячек и еще тверже, чем священник, потому что совсем забыл сущность догматов этой веры, а знал только, что за теплоту, за поминание, за часы, за молебен простой и за молебен с акафистом, за все есть определенная цена, которую настоящие христиане охотно платят, и потому выкрикивал свои: „помилось, помилось“, и пел, и читал, что положено, с такой же спокойной уверенностью в необходимости этого, с какой люди продают дрова, муку, картофель...

Большинство же арестантов, за исключением немногих из них, ясно видевших весь обман, который производился над людьми этой веры, и в

душе смеявшихся над нею, большинство верило, что в этих золоченых иконах, свечах, чашах, ризах, крестах, повторениях непонятных слов: „Иисусе сладчайший“ и „помилось“—заключается таинственная сила, посредством которой можно приобрести большие удобства в этой и в будущей жизни.

У попа и кулака — одни интересы

Отрывок из романа А. Неверова „Гуси-лебеди“

За двадцать лет священства в черноземном уезде Никанор успел превратиться в крупного степного хозяина. На просторном дворе у него отдувались племенные коровы. Брыкаясь, играли гладкие, словно вылизанные телята с задранными кверху хвостами, хрюкали свиньи, гоготали гуси. На конюшне, прикованный цепью за шею, весело ржал выездной жеребенок. Плотно жил Никанор. Поглощенный заботами, он даже не толстел, не страдал и поповской одышкой. Тонкий, сухопарый, беспокойно бегущий за рублем, одевался он нарочно в старье, чтобы не было подозрения, охотно показывал всем грязные, непромытые руки, сам чистил конюшню, убирал скотину, и если кто из знакомых говорил: „Куда вы копите, батюшка!“ — испуганно уверял:

— Да нет же, нет! Честное слово, нет. Не хватает...

Окна на ночь в доме у него закрывались ставнями на железных болтах, парадное запиралось двумя задвижками, продетыми в толстые скобы, дверь в прихожей — двумя крючками. Спальня, где стояли сундуки, пропахшие нафталином, запиралась особо: крючком и задвижкой.

Раньше было проще. Но когда сдохла цепная собака—черный крутолобый кобель, а в степных приходах появились большевики, не признающие духовного звания, жизнь перевернулась вверх дном.

В полдень зашел ^{* * *} Алексей Ильич Перекатов—большой человек. Некогда бегал он по людям, работал поденно, потом сумел перевернуться, нахватал отрубов, пропитых слабосильными мужиками, крепко осел в пятистенке под жостью. Сына, окончившего реальное училище, направил в технологический институт, чтобы сделать из него хорошего человека, сам ходил в городском пиджаке, в низко подпоясанной рубахе, с бабьим, туго перетянутым животом. Слыл умницей, „золотой“ головсй, и правил мужиками, как парой взнузданных лошадей в крепко натянутых вожжах. Про мужиков презрительно говорил:

— Русский крестьянин—дурак! Он не умеет жить.

Сам Перекатов умел жить, но пришла Октябрьская революция, вырвала из рук крепко натянутые вожжи, мужики пошли вразброд. После февральского переворота все-таки сдерживал их. Появились всевозможные комитеты, нужны были „достойные“ люди, „честные“ работники, как говорилось в бумагах из города. Алексей Ильич, опытный балясник, сел председателем в волостной комитет народной власти. Лавочника Стра-

тона втискал в земельный, племяша — в продовольственный, а делегатом в уездный комитет направил бестолкового Моисея Кондрашина, любящего говорить про „суглас“. Сам Перекаатов, раз'езжая по волости, тоже говорил про „суглас“, упрашивал мужиков жить по-божьи, по совести, никого не трогать, никого не обижать:

— Не прыгайте сразу! Все ваше будет. Нам ничего не надо. Присудит закон—возьмете...

Когда не хватало силы сдерживать внешние воды, прорывающие плотины, выпускал на помощь дьякона, работавшего секретарем в продовольственном комитете. Дьякон выступал с длинной ораторской речью, украшенной поговорками:

— Старики! Семь раз отмерьте — серьезное дело. Мы вот грамотные, книжки разные читаем, и то скажу про себя: ничего не понимаю в политике. Сущность никак не уловлю. Вообще, как говорится, в Англии двести лет занимаются этой самой политикой, парламенты разные, конституция, а у нас в дикобинку подвалило. Лучше повремените, старики, там видно будет, никуда не уйдет, теперь уж капут буржуазному капиталу.

* * *

Первая радость короткой была. Патрин солдат Сергунька прислал письмо с фронта, строго-настрога наказал землякам, чтобы они не держались за партию социалистов-революционеров, потому что та стакнулась с помещиками, хочет

воевать еще четыре года. Сам Сергунька и сергунькина рота стоят за большевиков. Но что за большевики, какие большевики,—ничего неизвестно. Василий Гаврилов из Саратова тоже наказывал держаться за большевиков, а Прохор Попков наказывал, чтобы держались за социалистов-революционеров.

— Слободушка!—говорили мужики. — Сын— за эту, я—за эту. Наделаем делов!.

Сергунькино письмо словно крючком зацепило налаженные мысли, прохорово—опять укладывало на прежнее место, получалась путаница, неразбериха.

— Серьезное дело, подумать надо! — сердились мужики.

— Да чорт ли думать-то! — ругался старик Лизунов.—И то голова на колесо похожа. Дает ежели земли бесплатной, за ней и пойдем, чтобы от солдат не отбиваться.

Но дает ли новая партия земли и сколько— об этом никто не знал. Некоторые советовали сходить к Марье Кондратьевне, к Никанору с дьяконом. Уж кому-кому, а им наверно, известно: газеты читают.

Итти не пришлось. Приехал Федякин с фронта и в первый же вечер разрубил все сомнения, опутавшие мужиков. Федякин был большевик, сеял вокруг большевистские зерна, а главный козырь, с которого выхаживал он, против Марьи Кондратьевны с дьяконом, это мир,

заключенный большевиками с Германией. Слово это ловили, подхватывали, готовы были поднять на руки, если бы можно было поднять его. Оно отражалось в глазах, чувствовалось в улыбках, звенело в приподнятых голосах. Трехлетняя война, выпившая лучшую кровь, замучила страхом, слезами, отравила жизнь хромыми, безрукими, и каждому хотелось прижаться к той партии, которая несет на своем знамени скорый, немедленный мир.

Никанор со своей компанией сев другие семена. Одни говорили, что большевики станут снимать колокола с церквей, жить с чужими бабами, как со своими. Другие уверяли, что большевики всех угонят на фабрики, на заводы, делают мужиков „пролетариями“. Перекзатов, читавший газеты, рассказывал:

— Большевиков в России нет. Есть только мадьяры с китайцами, подкупленные немцами. Нарядились они в русскую одежду, хотят погубить русскую веру.

Мужики отупели. Дождик пролил из другой тучи. Заливаново поросло небылицей, как жирная, плохо обработанная десятина.

Осенью явились солдаты, атаковали Алексея Ильича, выбили из волостного комитета. Никанор отошел в сторону. Дьякона вешающего сахар в продовольственном комитете, заставили отчитаться.

* * *

Никанор сидел помолодевший, дьякон сонно покачивал головой. Хомутовский батюшка Егор Замуравленный выхаживал по столовой крупными играющими шагами. Был он длинный, жердистый, с большим кадыком на выгнутой шее. Круглые глаза под низким лбом горели странным весельем, жидкие кофейные волосы падали наперед. На столе стоял графинчик. Пили Замуравленный с дьяконом: сам Никанор ссылался на сердцебиение. Вытащил он „золото“ на радостях, по поводу ниспровержения большевиков, теперь же раскаивался. Думал, — совесть есть в людях, не выпьют всю, но Замуравленный, как голодный конь дорвался до чужого сена, налил себе, дьякону, торжественно говорил:

— Выпьем, о. архимандрит, за коалицию! Мы еще поживем.

Широко улыбался:

— Теперь другая картина, отцы преподобные. Как услышал я про свержение большевиков с комиссарами, целый день провел в пасхальном настроении. В ушах колокола поют: „Динь-дон, динь-дон“. Очень уж обидно было мне. Бедный я человек, весь доход на двух воробьях увезешь, а большевики с’ели у меня два фунта сахару, четыре фунта варенья из черной смородины. Попадись теперь под-руку, задушу двумя пальцами.

— А евангелие? — спросил дьякон, улыбаясь пьяной улыбкой. — Оно не знает отмщения врагам.

Замуравленный подскочил:

— А этого не хочешь? Вы что мне тычете евангелем в нос, если я вам целую библию раскрою? Для вас два фунта сахару — плевков, не стоящий внимания, а для меня — трагедия. Вы сколько получаете в месяц? Евангелие! Я обиженный под. Четыре года в Хомутове сижу, да три года в Песочном прошмыгал, да псаломщиком прогудел два с половиной года, а попадья у меня плодоносная. Сплю редко с ней, а брюхатит два раза в год.

— Не выражайтесь! — сказал Никанор.

— Свобода слова.

— А я говорю — не выражайтесь.

— Скажите яснее мотивы вашего голосования!

— Пьяный вы.

Замуравленный засучил рукав:

— Как тресну вот по самой вершинке—присядешь у подножья моего.

— О. Георгий!

— Что прикажете, о. Никанорий?

— Вы ведете себя неподобающе.

— А вам известна жизнь моя? Давайте меняться приходами. Миллионщики!

— К чему такие слова?

— Нарочно я, шучу. Выпьем, дьякон, за Учредительное собрание, споем марсельезу. Пу-

скай собираются. Вы думаете,-- мне сахар жалко? Ничего мне на свете не надо.

Была бы лишь настоечка,
Кусочек ветчины...

Никанор покачал головой:

— О. Георгий, мне неудобно видеть унижение сана иерейского. Поезжайте домой. А вам, о. дьякон, тоже догадаться пора: ваша собачка домой просится...

— К чему же аллегории?—обиделся дьякон.

— Стойте, духи, я вас сейчас примирю.

Замуравленный схватил Никанора подмышки, приподнял выше головы:

— И вознесу его и прославлю его.

Никанор толкал коленками в грудь:

— Пустите!

— Не могу.

— О. Георгий!

Дьякон покатывался со смеху. Замуравленный говорил, держа Никанора с болтающимися ногами:

— И был он взят живым на небо.

Вошел Сергей; Замуравленный схватил его за руку.

— Стойте, я вас давно ищу. Хотите, поговорим?

— О чем?

— О чем угодно. Я ведь тоже учился в духовной семинарии и дважды был наказан за чтение революционных изданий. Вы знаете, что

такое социализм? Ага? Точка. А я знаю. Держим пари, если я не знаю? Его теория подобна заговору от зубов и действует больше на умы непросвещенные. А практика — восемь разделить на четыре... Видал? Если бы я был генерал-губернатором, я бы всех отправил в дом малолетних преступников. Наливай, дьякон за конституцию, а вы, о. Никанорий, заведите граммофон. Пусть споет из религиозного. Все равно—умрем.

Замуравленный тряхнул головой и вдруг запел хорошим, мягким баритоном:

Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть.

Уходя, Сергей сказал с молодым задором:

— О. Георгий, почему вы в целовальники не пошли?

Никанор вскочил от обиды:

— Сергей!

Замуравленный удержал:

— Ничего, я давно знаю эту философию. Он правильно говорит. Не по той дороге иду я, да и вообще—не иду. Ведет меня кто-то насильно. Надел намордник и ведет.

— О. Георгий, я не позволю так выражаться. Он мальчишка, слова его — шелуха непродуманная. Он не понимает великой скорби человечества, которую мы несем перед престолом всевышнего, а вам довольно стыдно поддерживать легкомыслие. Я очень обижен...

Вышло торжественно, фальшиво. Замуравленный начал трясти себя за нос двумя пальцами:

— Слушайся, слушайся умных людей!

Дьякон впал в меланхолию, презрительно улыбнулся, раскрывая полусонные глаза:

— Лев Толстой, Максим Горький!.. Вы думаете, я ничего не понимаю? Я тоже никому не позволю смеяться над своим критическим положением.

— Замолчи!—цыкнул Замуравленный.

— Не могу.

— Закрой уста!

Дьякон стал вплотную около него:

— Вы какое имеете право кричать на меня?

Замуравленный щелкнул дьякона по носу:

— Видал?

Никанор возмутился:

— Вы что делаете? Водку выпили, скандалить хотите?

— А ты кто? — нелепо уставился дьякон. —
Смотри, голубчик, ответишь..

Испугался:

— Дураки мы все. Чему обрадовались?

Еще больше испугался, стал перед Никанором на колени:

— Простите, батюшка, это я не вас: почудилось мне..

Замуравленный вскочил верхом на дьякона, взял за уши, ударил коленами под бок:

— Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-динь-динь..

Дьякон сшиб Замуравленного, неловко пнул ногой в живот, ударился бежать.

— Держи, держи его! Милиция! Он убил меня! В причинное место ударил!

Никанор только руками разводил. Замуравленный ставил ногу наотлет, раздвигал полы подрысника, готовился танцевать:

— Гоп мои! Гоп твои! Гаврила, крути!

Усадил его Никанор в телегу с трудом. Долго барахтался он, дергал мерина за хвост, на прощание сказал Никанору:

— Большевик ты, о. Никанор! И семейство твоё большевистское. Я всё видел — запомнил. Если убьют меня дорогой, отвечать будешь ты, и детей моих ты будешь кормить. А водки твоей я не пил, это тоже запомни.

Никанор от радости перекрестился, когда гость выехал со двора. Крепко запер ворота, прошел на конюшню, погладил жеребенка на привязи.

— Слышал — большевиков-то как? Стой, не кусай!

На дворе у псаломщика слышались голоса. Иван Матвеевич тащил какой-то узел, завернутый в рогожу, сзади шел Федякин.

— Никто не сыщет здесь?

— Кому сыскать. Ко мне не придут.

Никанор у забора притаил дыхание. Быстро отскочил, поднял щечку, улыбнулся, шагнул на крыльцо.

* * *

По вечерам горела лампада в переднем углу шлепал Никанор туфлями. Сделался он тише, добрее, говорил со всеми ласковым украдчивым шепотком, но в этой крстости пряталось приготовленное жало. Забегали Перекатов с Блюдовым, дедушка Лизунов с Михайлой Семенычем, и в маленьком полуосвещенном кабинете с закрытым окном шла воровская беседа. Ждали чехов, приготовили список преступников, каждый испытывал непривычную дрожь.



Поп - доносчик

Отрывок из книги П. Дорохова „Колчаковщина“

Верстах в пяти от Сизовки Киселева догнал отряд конных милиционеров.

— Стой! Что за человек?

Димитрий быстро оглядел всадников. Заметил между ними молодого бледного попаика. Подумал про себя:

„Ага, каратели!“

Спокойно выдержал испытующий взгляд спрашивающего и ответил:

— Человек, как человек, а еду по своему делу.

— По какому делу, куда?

— В Сизовку мне, а по какому делу, о том я только одному могу сказать. Где у вас старший?

— Я старший и есть.

Киселев вынул бумажник, протянул старшему документ, взятый у человека во френче. Старший прочитал, с уважением посмотрел на Димитрия и вернул бумажку.

— Свой, значит. Выходит, по одному делу едем.

Димитрий улыбнулся.

— Должно быть, по одному. Вы в Сизовку?

— Да.

Пригласил с собой попаика.

— Садитесь, батюшка, а то неловко духовному лицу верхом..

Поп пересел в коробок к Димитрию, с любопытством оглядел его.

— Вы от начальства, должно быть?

Киселев молча и важно кивнул головой и в свою очередь спросил попика:

— А вы, батюшка, с отрядом?

— Нет, я сизовский. Бунтуют, мерзавцы! Милиционеров арестовали, почту заняли, земство прогнали.. Пароход ограбили.. Господ офицеров с парохода сняли, в амбар заперли, живы теперь, нет ли.. Я почел своим священным долгом осведомить начальство.

— Может быть склока одна, не бунт?

У Димитрия такой спокойный вид, а внутри сгорает от нетерпения узнать от попика про бунт в Сизовке.

— Что вы, что вы, почтеннейший господин, бунт, бунт! Управляющий уездом тоже сомневался. Может, говорит, так по пьяному делу. Бунт, бунт!.. Бунт против власти, против церкви, против бога!

Киселев с многозначительным видом улыбается, небрежно роняет:

— Я кое-что знаю, но подробных донесений не имею. Там ходок этот.. как его..

Попик с почтением посмотрел на Димитрия и подумал: „Должно быть, крупная птица, донесения имеет“.

— Это вы про Ивана Бодрых изволите говорить,— обратился он к Димитрию, — который насчет земли в город ездил?

— Да, кажется, так зовут этого ходока. А как вы это отец, пробрались, как вас бунтовщики не сцапали?

Попик скромно улыбнулся.

А я, господин, пешечком. Вышел будто на прогулку, зашел за село, да и давай бог ноги. До соседнего села дошел, у знакомого батюшки взял лошадей, да скорей в город.

Киселев засмеялся. Чувствует, что попик считает его за какое-то начальство, принимает покровительственный тон и дружески хлопает попа по колену.

— Молодец, батя, молодец!

Поп воодушевляется. Его бледное лицо загорается краской.

— Понимаете, господин, штаб, сукины дети, выдумали!

— Да что вы?

— Да, да. Вот этот самый Бодрых, да Лыскин Яков, да Молодых Петр—мужики!

Димитрий искренно восторгается.

— Да что вы?!

— Да, да, мужичье сиволапое!

Димитрий ясно представляет себе огромную фигуру Ивана Бодрых, когда тот на пароходе отсунул человека во френче, смерил его уничтожающим взглядом: „Егория бы вам, сукиным детям!..“

Под'ехал старший милиционер.

— А вы слышали, здесь недалеко, верстах в ста, Петрухин орудует?

Больших трудов стоит Киселеву скрыть свое радостное удивление.

— Знаю, да.

Спокойно и терпеливо ждет, когда милиционер начнет рассказывать.

— Вот жизнь собачья, с лошади не сходишь, так на лошади и живем. Мыкаемся по всему уезду. чуть не в каждом селе теперь бунт. А этот Петрухин, как чорт, носигся из конца в конец.

Киселев успокаивает старшего:

— Недолго поносится, скоро отдыхать будет...

— Да уж отдохнет, как попадетя к нам в лапы

Милиционер от'ехал. Попик клевал носом, время от времени с трудом поднимая отяжелевшие веки и виновато улыбаясь Димитрию. Сгал подремывать и Димитрий.

— Вон и Сизювка,— обернулся ямщик к седамкам.

Киселев подозвал старшего.

— Я думаю вот что: вы с отрядом подождите здесь, вон на опушке спешьтеся, а я пройду в село один. А то неровен час, засада какая или еще что. От бунтовщиков всего можно ожидать.

Старшему такое предложение Киселева понравилось.

— А ведь и верно. Кто их знает, какие у них силы. Правда, и нас двадцать человек, ну, все-таки.

— Береженого и бог бережет, — сказал проснувшийся попик.

— Верно, батюшка. А как же вы один-то? — обратился старший к Димитрию.

— Ну, я и не в таких переделках бывал.

Димитрий вылез из коробка и стал расплачиваться с ямщиком. Мужик смущенно взял деньги.

— Ты уж извини, если что неладное сказал.

— Ладно, ладно, — засмеялся Киселев, догадываясь, что теперь и ямщик считал его за начальство. — Ты только поезжай отсюда скорей, где-нибудь на дороге передохнешь.

Ямщик быстро повернул назад.

Димитрий обратился к попику:

— Вам, батюшка, я тоже советую обождать здесь, спокойнее будет. Вовсе не нужно, чтобы бунтовщики видели, как вы вернулись. Попозднее задами пройдет.

Поп согласился...

* * *

На заседании штаба Димитрий поставил вопрос о том, что делать с попом.

Все в один голос:

— Расстрелять и больше никаких, чтобы не доносил!

Димитрий покачал головой:

— Нет, товарищи, так не годится. Как-никак

поп, а у вас, должно быть, есть люди, которые до сих пор к попам с уважением относятся. Многие недовольны будут, это им обидно покажется. А нам нужно, чтобы за нами все шло.

Штабники призадумались.

— Да, пожалуй, и правда.

— Выгнать бы, по-моему, попа из Сизовки, а имущество конфисковать,—сказал Димитрий.

— Тогда уж и дьякона заодно,—поддержал Бодрых.

Яков Лыскин поскреб в затылке, сказал смущенно:

— Не виноват, будто, дьякон.

— Одного поля ягода, сейчас не виноват, потом будет виноват.

Молодых присоединился к Ивану:

— Верно, лучше сейчас, а то потом хлопот не оберешься.

В конце концов Петр Молодых, бывший в штабе за секретаря, записал постановление:

„Попа Ивана за донос из села Сизовки вместе с его семейством изгнать, имущество конфисковать в пользу революционной армии. Дьякона Василия, как он с попом Иваном одного поля ягода, также изгнать, а имущество конфисковать..“

Чудо.

А. Серафимович.

В январскую стужу, привалившись к задку саней, ехал казак Наумыч в станицу.

Заиндевшая лошадь бежит споро. Кругом степь, занесенная снегом. Наискосок, через дорогу, тянет злая поземка. Верст семнадцать осталось.

Вдруг Наумыч натянул вожжи. Лошадь стала. — Что за притча? Шагах в десяти от дороги пар шел.

Слез Наумыч, идет, проваливается по сугробам. Чудеса! В ложбине чернеет живая вода, снег кругом мокрый, а в воде лягушенок плавает — оттаял.

— Али навождение? — перекрестился Наумыч. Знает, кругом верст на двадцать воды нет, степь сухая, как кирпич, и от мороза даже воздух оледенел.

Побежал назад, ввалился в сани и погнал лошадь. А в станице прямо к попу.

— Так и так, батюшка, нонче мне навождение в степи было, благословите. Двадцать годов ежу по этому самому месту, капли-росинки никогда там не бывало, и называется „Сухой Лог“, а тут прямо живая вода, а кругом мороз, а в ей лягушенок плавает.

Поп сунул ему в губы волосатую руку, выслушал, да как заревет боровом:

— Мать, дай ему стакан водки! Да вели Николаю запрягать — вороных! Пошли за дьяконом, за дьячком; приготовьте облачение!.. А ты, мать, полезь на подловку, там в углу навалены иконы, выбери какую постарей божую мать, почерней какую. Да сама полезь, а то Палашка не сумеет. Да не забудь... того!.. — крикнул он в догонку. — эного... бутылочку в сани поставить, — мороз больно здоров!

Попадья, вся в паутине, слезла с подловки и подала почернелую доску.

— На вот! Только нос у ней маленько сколупнут.

Через полчаса поп в новой енотовой шубе, с ним здоровенный, похожий на быка, дьякон в волчьей, и в пальтишке, не попадавший зуб на зуб, дьячок — быстро ехали на паре сытых вороных в степь.

Вот и ложок, и пар от него идет. Глядь, а с другой стороны на паре гнедых тоже жарят: поп с дьяконом и из хутора — пронюхали каналы.

Подскакали разом: выскочили попы да к воде с иконами.

И стали друг дружку пихать. Быть бы большому бою, да бегут кучера, кричат:

— Батюшки! Батюшки! Народ едет...

А народ, действительно ехал: со всех сторон

чернели сани. И как это быстро весть о чуде облетела станицу и хутор.

Попы, кряхтя, поднялись, и пошло. „Господи помилуй“ и „аллилуия“ и „радуйся, невесто невестная“...

На другой день народу привалило еще больше. Везут безруких, хромых, слепых, иссохших, измученных, падучих, порченных, кликуш. И все с умилением, со слезами пьют святую воду и прикладываются к явленным, быстро стынувшим на воздухе; морозно: прилипают губы, больно отдирать. А кругом вздохи, крики, плач, визг, кликуши голосят.

— Матушки, царицы небесные! Да как же вы нас сподобили недостойных?! Хоть бы одна, а то сразу две — преподобная одигитрия, ды казанская божья матерь!

А около попов растут кучи денег, печеного хлеба, яиц, сала, овчины, мешки с пшеницей. Пара вороных и гнедых не успевают отвозить, — так тянулось целых три дня. Измучились попы, до седьмого пота трудятся.

По области, по станицам, по хуторам слава пошла о двух явленных, и как они исцеляют болящих. И те, кто приезжал, своими глазами видели явленные иконы в живой воде, как для болящих царицы небесные воду все прибавляют, — стало уже маленькое озерцо, и не мерзнет.

Удивляется народ, в страхе и умилении пьет воду, набирает в пузырьки, в бутылки, и развозят по всей области.

На пятый день приехали на двух санях рабчине, хмурые, черные от в'евшегося металла и масла. Вылезли, достали инструменты, подошли:

— Ну, будет вам тут турусы разводить!

Вскинулись попы и молящиеся:

— Вам чего надо? Тут явленные матушки, царицы небесные, одигитрия, да казанская!

— Ма-атушки!.. по матушке бы вас всех! Ишь сколько воды нашло! В станице, почитай, водопровод стал, без воды все сидят. Труба лопнула, а вы воду лакаете, да еще с водосвятием. Ну, пускайте, некогда нам тут с вами!

И принялись за работу. Развели костры, оттаяли землю, вырыли колодцы, открыли водопроводную трубу, заменили лопнувшую часть новой, опять засыпали землей и уехали.

Поднялась мятель, все сравняла, и опять осталась степь, пустынная, одинокая, безлюдная...



0:6

Комедия в 1 акте.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. **Афонский** Геннадий Иванович Поп; худенький, небольшого роста, с аккуратно подстриженной бородкой. Голос и движения мягкие, вкрадчивые.

2. **Афонская** Ангелина Титовна. Ежо жена, рослая и дородная женщина.

3. **Рыкалов** Савва Григорьевич. Дьякон. Полная противоположность Афонскому: большого роста, с огромной кустообразной бородой. Говорит низким басом.

4. **Голубев** Василий Матвеевич. Пожилой колхозник, один из немногочисленных прихожан Афонского.

5. **Кочкина** Наташа. Комсомолка-безбожница.

ОБСТАНОВКА:

Комната в квартире Афонских. Входная дверь—прямо, внутренняя—справ. У окна небольшой столик, на котором разложены инструменты для починки часов и части часовых механизмов. За столиком, на низеньком табурете, Афонский занят починкой часов. Невдалеке от него дьякон старательно надувает футбольный мяч. Слева большой обеденный стол, наполовину заваленный газетами, книгами и бумагами. Афонская моет и убирает посуду, то входит, то выходит из комнаты.

Афонский. Я теперь — человек полноценный, я теперь — правовое лицо. В наше время талант — это капитал А кто посмеет сказать, что у меня

нет талантов? Я и организатор, и администратор, и экономист, и даже, отчасти, механик.

Рыкалов. А у меня, скажите, талантов, нет? Да меня хсть сейчас в любую оперу примут... До-ми-соль-фа!.. До!.. Чувствуете? Как будто тигр в бочке рычит... А это не талант? (*Указывает на мяч.*) Одним ударом через все поле... раз! — Гол, свисток — и игра кончена со счетом 6:0 в нашу пользу (*Завязывая мяч, подходит к Афонскому*). Это чьи же часы, Геннадий Иванович?

Афонский. Крылова.

Рыкалов. Савоськи?

Афонский. Был Савоська безлошадный бедняк, а ныне — Севастьян Григорьевич, лучший ударник бригадир.

Рыкалов. Что зажиточная жизнь с людьми делает! Савоська-бедняк при часах ходит, а у меня, у духовного лица, одни ходики дома да и те встали. Починили бы, отец Геннадий! Безвозмездно. По-дружески.

Афонский. Дружба — дружбой, а табачок врозь. У меня и платных заказчиков достаточно. Раньше у меня всего два заказчика было — трактирщик да лавочник, а нынче работы хватает.

Рыкалов. Так не почините?

Афонский. Дуйте и не ерепеньтесь.

Рыкалов. Пра-актик! Сами деньги прирабатываете, а на меня общественную работу ввалили...

Афонский. Общественная работа! Говорить бы постыдились. Ну, куда годится ваша общественная работа? В церковном хору ни одного голоса приличного не осталось.

Рыкалов. Ушли! В клуб ушли, в хоровой кружок. Да помируйте, отец Геннадий, тут тебе: „отче наш, иже еси на небеси-и“, а там: „и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!“ Какое же может быть сравнение?

Афонский. Упустили молодежь, из рук упустили.

Рыкалов. Попробуйте ка их удержать! Вот, скажем, футбол. На рельсы у меня дело было поставлено, так завели при клубе вторую команду. Лучших игроков сманивают. А уж, кажется, я спец. Такого капитана, может, в сборной СССР, и то нет. Я, может, один всех трех братьев Старостинных стою.

Афонский. Знаем мы, чего вы стоите! А кто на прошлой неделе Гришке Носову башмаком скулу на сторону свернул? Я зачем вам поручил футбольную команду составить? В педагогических целях. Чтобы на молодежь влияние иметь. Чтобы постепенным внушением, кротко и незаметно возвращать заблудших юношей в лоно церкви. А вы их бутсами по щекам лупите. Да от такого внушения кто угодно сбежит. Эх, вы, педагог!

Рыкалов. Отец Геннадий, нельзя же так голословно утверждать. Вы разберитесь. Я веду мяч.

Гришка мне навстречу. Я бью. Гришка падает, и его физиономия сама вместо мяча мне под каблук лезет. Удар у меня классный! Ну, конечно, щека на сторону... Так сам виноват—смотри, куда падаешь. Нет, отец Геннадий, мне вот только рьяса мешает, а то цены бы мне не было...

Афонский. Охо-хо! Кому она ныне не мешает!

Рыкалов. Так, отец Геннадий, зачем же дело стало. Раз, два, и... (*поет*) на простор речной волны выплывают расписные...

Афонская (*входит*). Ну, заблажил!

Афонский. Раз, два и—куда? Ну, примут вас в колхоз... Эка радость! Много нас теперь таких развелось, никого не удивишь. Рьясу снять надо умеючи, чтобы полное к тебе доверие было...

Дьякон. Это вы насчет чего же?

Афонский. А хотя бы насчет письма прихожан. Мысль, достойная внимания. Если будет подписей с полсотни...

Дьякон. Не наберет он, отец Геннадий. Уж больно вы хватили! Где их столько набрать?

Афонский. Он не наберет, так мы сами подбавим. Документ не официальный, проверить не будут.

Рыкалов. А я вам скажу, он Василий Матвеевич-то, и стараться особенно не будет...

Афонский. Будет..

Рыкалов. Не будет. Он уж того.. И книжки стал почитывать, и прочее такое...

Афонский. Плохой вы психолог, отец дьякон!

Что такое Василий Матвейч? Это человек привычки, а привычка — качество крепкое. Чтобы привычку уничтожить, нужно что-нибудь особое, из ряда вон выдающееся. А привычка в чем? В том, чтобы на пасху было служение, куличи, яйца, христосование... Вот, на этом я с ним и играю. Из-за этого, из-за привычки своей, он в лепешку расшибется.. Не собственно для религии, а для своей многолетней привычки.

Рыкалов. Тонко!..

Афонский. Уж будьте покойны! А план превосходный: 50 подписей колхозников-прихожан, слезная просьба остаться в приходе, а мы все-таки рясы снимаем, уходим на честную работу, согласно своим убеждениям. Этим уже можно козырнуть. А так, попросту, рясу снять — дело немудреное: хоть завтра.

Афонская. Как — завтра! Да что ты, Геннаша, опомнись! А пасха-то?

Рыкалов. Правильно. За неделю до пасхи рясу снимать! Да какой же, после этого, у вас экономический талант? С эдаким талантом в трубу вылетишь.

Афонский (*ищет что-то на столе среди бумаг*). Много вы оба понимаете.

Рыкалов. Пасха — праздничек особенный. Иной человек, может, целый год в церковь не заглядывает, а на пасху-то и не выдержит.

Афонский. Неорганизованный вы народ. Воспоминаниями живете, доисторическими (*достаёт*

со стола бумагу), а тут, вот, живая и суровая действительность. Вот, извольте: калькуляция пасхальной службы на текущий год, согласно данным прошлого года. Графа 1-я. Тарелка и кружка—42 рубля 85 копеек. Графа 2-я. Доброхотные даяния—ну, там, яички, творог и прочее, в переводе на деньги, по рыночным ценам,—61 рубль. Итого—103 рубля 85 копеек. Есть из-за чего честному человеку мараться!

Рыкалов. Извиняюсь, а свечи?

Афонский. Вот в свечах-то вся суть дела и есть. Графа 3-я—основной доход—свечи—390 рублей 40 копеек. А где мы их возьмем? В прошлом году нам свечи Кузин, Петр Иванович, доставил. Покупали мы у него оптом, торговали в розницу—выгода явная...

Рыкалов. Оно бы и в нынешнем году так же...

Афонский. Оно бы! Оно бы! А где он—Петр Иваныч-то? Может, давно уже какой-нибудь канал соет. А без него, без опытного спекулянта, где мы свечи возьмем? Констатирую: свечей нет и не будет; так, значит, нечего и пасхи дожидаться. Как только подписи соберем, так можно будет и действовать.

Рыкалов. А в Знаменском, у отца Алексея, 4 пуда свечей от прошлого года осталось. Вот бы нам-то!

Афонский. Так он вам их и отдаст. (*Стук в дверь*). Кто там? Войдите.

Голубев. (входит). Здравствуйте, батюшка!

Афонский. А, Василий Матвейч! Ну, как дела?

Голубев. Хожу, батюшка, хожу, собираю.

Афонский. А много ли набрал?

Голубев. Да не так чтобы много: 12 штук.

Афонский. Маловато, Василий Матвейч! Ты помни, мое слово твердо! 50 подписей. На одну меньше — и кончено: снимаю сан, и пасхальной службы у вас не будет.

Голубев. Помню, батюшка, помню. А откуда их взять? Ума не приложу.

Афонский. Как откуда взять? Ну, вот, например, Бердяков Афанасий Гаврилыч. Ревностный был христианин. Неужто он не подписался бы?

Голубев. Афанасий-то? Беспременно бы подписался. Да ведь он, того, помер, батюшка. Сами же вы его и хоронили.

Афонский. Бренное тело умерло, а душа жива. Может, она здесь вот сейчас над нами незримо витает. И хочется ей подписаться, а не может сама...

Голубев. Так, так, так... Все может быть, и витает.

Афонский. Или, например, Куряжин, Андрей...

Голубев. На отхожем он, в плотниках.

Афонский. Тело грешное на отхожем, а сердце его здесь... невидимо присутствует.

Голубев. Так, так, так... Все, может быть, и

присутствует. А только как бы нам, батюшка, за такие подписи да вот по этому месту!.. (*Указывает на затылок*).

Афонский. Что ты, Василий Матвееч! Почему? За что?

Ведь это же не государственный документ, а частное письмо частных людей к частному человеку.

Голубев. Да ведь оно, батюшка, что в частном, что в государственном, а врать нигде не положено, нет, уж мы как-нибудь без них обойдемся...

Рыкалов. А обо мне - то в письме тоже сказано?

Голубев. А как же? Помилуйте! Ведь сам же батюшка составлял.

Афонский (*берет у него письмо и рассматривает*). Плохо просите—всего 12 подписей (*бросает бумагу на стол*).

Голубев. Доберу, батюшка! У нас нынче общее колхозное собрание, так я женщин поспрашиваю... Авось...

Афонский. И поднеси его мне торжественно, ну там, в каком-нибудь особенном пакете или в коробочке. Чтобы понаряднее было.

Голубев. Сделаем, батюшка, уж я заготовил все—и коробочку, и бумажку, и ленточки. Только уж вы нам светлую заутреню отслужите.

Афонский. Заутреню! Перед людьми широкий путь, трудовая, радостная жизнь.... Ну, что те-

перь для нас с дьяконом светлая заутреня? Сказка о Христе, и больше ничего.

Рыкалов. Факт! Сказка, и больше ничего!

Голубев. Конечно, оно, может быть, и сказка, а, между прочим, куда же нам теперь на заутреню подаваться?

Афонский. Не велики господа, и до Знаменского дойдете, всего 7 километров.

Голубев. А зачем же нам туда идти, если отец Алексей сан с себя снял?

Афонский. Что?

Афонская Отец Алексей? } одновременно.

Рыкалов. Сан снял? }

Голубев. Как есть, снял. Вчерашний день вышел на собрание, рясу скинул да и начал каяться: и я, говорит, жуликом был, а другие, говорит, еще хуже меня...

Афонский. Другие? Кто же это „другие“? Может быть, я?

Голубев. И про вас говорил. Да мало ли что говорят!

Афонский. Про меня? Нет, все-таки интересно—что же именно про меня?

Голубев. И говорить неохота. Будто еще в тридцатом году, не у нас, а в Богословском приходе, кулаки у вас в церкви зерно прятали... Целый склад был..

Афонский. Ложь! Видит бог, злая ложь!

Голубев. Или, скажем, — это уже у нас,—от

какого-то спекулянта вы мануфактуру получали... и прочие товары. Торговали будто...

Афонский. Я?

Голубев. Ну, не совсем будто вы, а матушка, Ангелина Титовна.

Афонский. Ангелина?! Ты?!

Афонская. Отродясь не торговала!..

Голубев. Или вот, когда перепись всесоюзная была, так вы такое раз'яснение дали: если будет кто писать „неверующий“, так это выходит, что не верит он в советскую власть. Многие тогда сомневались. Кому же охота эдакую напраслину на себя взводить?

Афонский. Я это говорил? Я? Кому?

Голубев. И опять не вы, а матушка..

Афонский. Ангелина?! Ты?!

Афонская. Отродясь не говорила.

Афонский. Расследую, и если сие окажется истиной, то собственной жены не пощажу!

Голубев. Да что вы, батюшка! Мы же вас знаем.

Афонский. Что же ему, отцу Алексею, теперь какое-нибудь место дали особенное?

Голубев. Пчеловодом колхозным назначили.

Афонский. Пчеловодом? И он согласился?

Голубев. А что же? Дело это он знает, пчела его любит..

Афонский. Нечего сказать — карьера! Стоило из за этого...

Рыкалов. Пчеловодом! Убил бобра!

Афонский. Я не злобствую. На все его клеветы отвечу кротко: господи, прости ему, не ведает бо, что творит.

Голубев. Так как же насчет заутрени-то, отец Геннадий? Отслужите, а?

Афонский. Насчет заутрени... Не знаю, право... *(Отвернувшись, торопливо пишет что-то на клочке бумаги).*

Рыкалов. *(тихо).* Отец Геннадий, 4 пуда свечей... Не забудьте.

Афонский. Для вас, и только для вас, для любимых моих прихожан, я иду на это... Я отслужу заутреню.

Голубев. Вот спасибо, батюшка...

Афонский. Но подписи ты соберешь.

Голубев. Соберу, вот помяните мое слово, соберу. Нам, главное, без светлой заутрени оставаться никак невозможно, непривычно нам это... На собрание побегу. Счастливо оставаться. *(Быстро уходит, оставив бумагу с подписями на столе).*

Рыкалов. А отец-то
Алексей!..

Афонская. Что же
это, Геннаша?..

} одновременно.

Афонский. Тссс! *(Затворяет за Голубевым дверь).* Молчите! Дисциплина. Момент боевой. Новая калькуляция *(показывает бумагу)*—4 пуда свечей. Это—раз. Из Знаменского прихода все

верующие на пасхальной службе у нас—два. Это увеличит доход процентов на полтора ста.

Рыкалов. На все двести, отец Геннадий, ей-богу, на все двести. И прихожан там больше, чем у нас, и народ до церкви жадный.

Афонский (*пишет*). Ну, скажем, на двести... Но этого мало, мы доведем увеличение до 400 процентов. (*Пишет на бумаге*). Есть доходы чрезвычайные, так сказать, психологические. Ты, Ангелина, сегодня едешь в Знаменское. Во-первых, с ктитором Семеном Семеновичем поговоришь о свечах. Куплю оптом. Недорого, конечно, по себестоимости. Он хозяин ловкий, — обделает. Понятно?

Афонская. Понятно, Геннаша.

Афонский. Во-вторых, мобилизуешь там своих монашек...

Афонская. Мать Досифею и мать Секлетею?

Афонский. Вот именно. Надо учитывать момент: сейчас в Знаменском в умах у верующих смятение — любому слуху поверят. Скажи им — пусть трянут стариной. Уже дам я им по четвертной на каждую.

Рыкалов. Что вы, отец Геннадий! Да они за четвертную сами себя и друг друга удавят. Когда перепись была, так они за двадцатку на двоих чего нашептали! А вы вдруг по четвертной!

Афонский. Этот расход окупится.

Афонская. А о чем шептать, Геннаша?

Афонский. Прежде всего — об отце Алексее,

что о нем — я скажу потом. Пусть разбросают письмо от бога — оно у меня лежит еще с переписи. Надо его будет немножко изменить: вместо печати антихриста какую-нибудь комету придумать — летит на землю большая комета.

Рыкалов. Ого!

Афонский. Божье наказание. Особая комета — с дырочками. Как-раз в страстную субботу, как „Христос воскрес“ запоют, так она на землю и обрушится. Все раздавит, все сожжет... А церкви — в дырочки попадут, и кто в них будет — только те в живых и останутся.

Рыкалов. Вот это так астрономия! Да поверят ли? Уж больно нынче народ недоверчивый стал.

Афонский. Там поверят или нет, а разговоры пойдут. Верующих это подогреет... Только помни: меня нет. Я ничего не знаю, ничего не говорил. Понятно?

Афонская. Понятно, Геннаша.

Афонский. Ты пойдика, отец дьякон, лошадь для матушки поищи.

Рыкалов. Повинуюсь, с восторгом повинуюсь. Эх, отец Геннадий, подработаем напоследок, а там — костюм серый в крапинку, бороду к чорту, остригусь а-ля-бокс — и в Москву... В оперу наймусь солистом. Молодая первобытная сила... Доми фа-соль! Или в какую-нибудь команду — тренером. Где ворота? Дайте мне ворота! *(Раскрывает входную дверь и кладет перед ней мячик).* Об-

ратите внимание: какой вратарь против такого удара устоит? (*Снимает рясу и остается в бутсах, трусиках и майке, бьет по мячу*). Гол! Свисток! Игра кончена со счетом 6:0 в нашу пользу! Буря аплодисментов! (*Уходит*).

Афонский. Гиппопотам! Ангелина, ты положение понимаешь?

Афонская. Понимаю, Геннаша, понимаю...

Афонский. Игра сложная. Что бы ни случилось, я должен быть вне всяких подозрений. Поэтому мы с тобой поссорились, разругались, разошлись. Понимаешь?

Афонская. Нет, Геннаша, вот этого уж я не понимаю.

Афонский. Уедешь в Знаменское и там останешься. Надо постараться, чтобы о нашей ссоре узнал весь колхоз, весь район, вся область. Я на все иду — даже на развод с женой. Это — марка! Это — крупный козырь.

Афонская. На разво-од?

Афонский. Впоследствии в городе... понимаешь... тсс... идет к нам кто-то... (*Выглядывает в окно*). Василий Матвеевич и с ним эта комсомолка-то Кочкина, как-раз это нам нужно. Прекрасно. Начинаем. Сейчас же, сию минуту, ссора. Я кричу — ты кричишь, я ругаюсь — ты ругаешься. Не стесняйся в словах. На этот раз я даю тебе полную свободу...

Афонская. Геннаша, да зачем же?..

Афонский. Тсс... Командую я! Сейчас неког-

да—потом об'ясню. От тебя сейчас требуется одно: рассердись! По-настоящему, натурально рассердись. Сюда! Сюда! (Увлекает ее во внутреннюю комнату).

(Некоторое время сцена остается пустой. Стук во входную дверь. Из внутренней двери выглядывает Афонский и снова скрывается. Стук повторяется. Входит Голубев, ведя за собою Кочкину)

Голубев. Идем, идем!..

Кочкина. Видишь, нет никого.. Неудобно...

Голубев. Идем, идем. Я тебе докажу, какой это человек! Своими глазами увидишь, своими ушами услышишь. Сейчас вот письмо наше найду—сама прочтешь. (*Ищет на столе*).

Кочкина. Ты хоть говори-то потише. Ничего ты мне не докажешь, Василий Матвеевич.

Голубев. Нет, докажу. Ишь, что выдумали! Подождать им недельку нельзя. Ведь сам человек уходит, сам, „дабы отдался честному и продуктивному труду на благо любимого, социалистического отечества..“

Кочкина. Не верится что-то..

Голубев. Не верится! А отцу Алексею небось верится?

Кочкина. Как тебе сказать? Все-таки больше, чем этому. Да и Алексея мы еще проверим.

Голубев. Я его, может, полчаса уговаривал хоть заутреню-то отслужить! Может, он десять минут собственное сердце слушал? А в письме-то слова какие! Я, вот, тебе покажу.. (*Ищет на столе*). Да где же оно?

Голос Афонского. Я не изменю своим убеждениям. Довольно! Пасхальная заутреня—моя последняя служба. И на это я иду только по просьбе прихожан, исключительно из любви к ним...

Голубев. Слышишь — из любви! (*Ищет на столе*). Вот напасть!

Голос Афонской. Грешник старый! всю жизнь в рясе ходил, а тут вдруг галстука ему захотелось! Все жилы ты из меня вытянул! всю голову ты мне забил! Идол бесчувственный, изверг!

Голубев. Разговоры семейные. Куда же оно могло деться?

Кочкина. Может быть это? (*Берет со стола и передает ему бумагу*). А нехорошо, как будто мы подслушиваем...

Голубев. Я тебе говорю, это такой человек, что слушай, не слушай, кроме хорошего ничего не услышишь. Нет, это не то. (*Читает*). Хм... „Калькуляция пасхальной службы на текущий год по новым данным“. Ишь ты! Кальку-ля-ция!

Голос Афонского. Я чутко прислушался к голосу собственного сердца!..

Голубев (*читает*). Доходы с местных прихожан—тарелка—доброхотные даяния—свечи—493 рубля. Плюс—Знаменские—200 процентов. И Знаменских уже вписал!.. Н-да, прислушался он к сердцу-то... Ишь, бухгалтер!

Голос Афонского. Я расследую. Я дознаюсь. И если ты действительно спекулировала, если ты

действительно распространяла контрреволюционные слухи, то я на все пойду!..

Голубев. Слышишь. Я же тебе говорил—честный человек! (Читает). Чрезвычайный психологический доход—200 процентов. Это что же такое за чрезвычайный, психологический? А?

Кочкина. Не знаю, тебе виднее, что. Скалькулировал он вас. И веру вашу, и молитвы—все на деньги перевел..

Голос Афонского. Мне честное имя дороже жены. Как бы я тебя ни любил, как бы я ни страдал, но если это подтвердится, — то развод! Немедленно—развод!

Голубев. Ага? Что? Вот—человек!

Голос Афонской. Что о? Разво-од? Взбесился. Святые угодники! Что, окаянный! В чем я виновата? Что такое подтвердится? А кто у спекулянта мануфактуру скупал? Не ты?

Кочкина. Вот, теперь слушай, Василий Матвеевич!

Голос Афонской. А кто насчет переписи мне шептать велел? Не ты? А кто в Богословском зерно под алтарем прятал? Не ты? А кто председателя колхоза убить подговаривал? Не ты? Я тебе покажу развод!

Кочкина. Слышишь, Василий Матвеевич?

Голубев. Слышу... Ну и ну!

Голос Афонского. Ангелина, что ты говоришь? Не то! Не то!

Голос Афонской. Врешь! Как не то! Сам ве-

дел не стесняться. Ты разведешься, в город уе-
дешь, а мне за тебя отвечать? Не на таковскую
напал!

Голубев. Идем... Идем на собрание! (*Грозит кулаком в дверь*). Пстой, поднесу я тебе подарочек! Идем, и сам подпишусь, и других уговорю.

Кочкина. Давно бы так!.. (*Уходят*).

Голос Афонской. 20 лет жили, и вдруг—развод? Да я из тебя последние волосы выдеру! Будешь разводиться? Будешь разводиться?

Голос Афонского. Тише! Больно! Оставь!

Голос Афонской: Говори, кого присмотрел? (*Из внутренних дверей выбегает Афонский, за ним преследующая его по пятам Афонская*). Говори! Я тебе такой развод покажу!

Афонский (*убегая от нее*). Ангелина! Довольно! Они уже ушли! Не надо больше! Довольно!

Афонская. Нет, не довольно! Я до тебя доберусь!

Афонский. Ангелина, опомнись! Ведь это же нарочно.

Афонская. Знаем мы вас: нарочно, а потом и на самом деле. Будешь разводиться? Будешь разводиться? (*Наступает на него*).

Афонский. С ума сошла! (*Убегает от нее*).

Афонская (*бьет его*). Вот тебе развод! Вот тебе развод! (*Афонский у входных дверей сворачивает в сторону, и Афонская вцепляется*

во входящего дьякона). Изверг! Мучитель! Козел! (*Бьет его*).

Рыкалов (*загораживаясь руками*) Извиняюсь! За что же такое угощение?

Афонская. Тьфу! И чего вы, Савва Григорьевич, под руку суетесь?

Рыкалов. Извиняюсь... Несчастливая случайность, и больше ничего.

Афонский (*в изнеможении опускаясь на стул*). Фу... кошка бешеная!

Афонская. Что-о?

Афонский. Да не на самом же деле я с тобой развожусь. Поняла? Ведь ты мне, может, все дело испортила... Когда они ушли? Слышали они или нет? А если слышали?!

Афонская. Забил ты мне голову окончательно. Ведь сам же велел рассердиться натурально, по-настоящему...

Афонский. Да ты что говорила-то? Что говорила? Подумай?

Афонская. А кто тебя разберет?

Афонский. Надо же понять положение: человек одновременно наживает деньги не совсем честным путем и создает себе имя честного человека. Человек порывая с прошлым, пренебрегает просьбой пятидесяти любимых прихожан, разводится с любимой женой. Здесь есть чем козырнуть. Это не обыкновенный случай. Не просто попик от безденежья снял с себя, за ненадобностью, рясу. С такими данными я смогу крик-

нуть громко: шире дорогу честному человеку!
(Входит Голубев. В руках у него большой продолговатый сверток, обвязанный бечевкой. Молча, торжественно подходит к столу и кладет на него сверток).

Афонский. Неужто собрал все пятьдесят подписей?

Голубев. Какие там 50. Все 240.. (Кланяется и медленно выходит).

Рыкалов. 240..

Афонский. Понимаю Слухи о моем разводе!.. Ну, этого я не ожидал.. так быстро..

Афонская. Письмо..

Рыкалов. 240 подписей! Весь колхоз.. Единогласно! Слезно умоляют..

Афонский. Это первая часть моего плана!.. Вот, смотрите, вы, сомневающиеся! (Развертывает сверток, в нем оказывается другой, третий и т. д.).

Рыкалов. Ах, да поскорее же, отец Геннадий!

Афонский (вынимая коробку, обвязанную ленточкой). Ага!

Афонская. Ленточка!

Афонский. Я же просил поторжественнее, по красивее..

Рыкалов. Вот она, может, вся наша будущая зажиточная жизнь, ленточкой перевязана. И до чего же я, отец Геннадий, по зажиточной жизни скучаю... До слез, ей-богу.

Афонская. Оно и правда: у всех—жизнь, как жизнь, а у нас—одна хитрость.

Афонский. Снимаю я сан и уезжаю в город.

И вот, идет слух: 240 человек просили его остаться. Обеспеченная, тихая жизнь—почет, уважение. Жена умоляла на коленях—со свойственным ей смирением: „Останься! Не уходи!“ Он всем пренебрег! Он все отринул... В газетах заметки, статьи, портреты!.. Слава! Карьера! Вот она! *(Вынимает из коробки и поднимает вверх бумагу)*.

Рыкалов. Наконец-то! Петиция!

Афонская *(повторяет заученно)*. Узнав о намерении вашем снять с себя сан, дабы отдаться честному и продуктивному труду...

Афонский. Постой!.. Что такое? Копия... Постановление общего собрания... Слушали: о закрытии церкви. Постановили: единогласно, за ненужностью, церковь... закрыть.

Рыкалов. Как закрыть? Да вы что-то не так... Это у вас в глазах... чортики прыгают... Дайте мне... *(Читает)*. Зак-рыть!.. Вот тебе, бабушка, и калькуляция!.. По новым данным...

Афонский. Нет у нас никаких новых данных. Нет и не может быть. И старые умерли, и новых нет. Мы теперь люди без всяких данных...

Рыкалов. Как же так? Вы, отец Геннадий, до конца не дочитали. *(Читает)*: „Имеющиеся данные о контрреволюционных преступлениях служителя культа Афонского, его жены, гражданки Афонской, и отчасти—хоть и отчасти, а все-таки!—дьякона Саввы Рыкалова довести до сведения прокурора...“ Вот вам, отец Геннадий, и данные! И притом совершенно новые...

Афонский. Не может быть!.. Вы врете!.. Где? (*Читает*). Да... Прокурора! Господи! Хотел еще разок сплутовать!.. По привычке... Исключительно по многолетней привычке... Ведь привычка — качество крепкое... сразу ее не уничтожишь. Надо же это понять. И вдруг... к прокурору!..

Рыкалов. Забили нам, отец Геннадий, мяч в ворота. Гол! Свисток! Игра кончена со счетом 0:6 не в нашу пользу.

Занавес.

(Журнал „Безбожник“ № 3, март 1937 год).

Обидно.

Кедра Митрей.

— Никак и отдохнуть теперь можно,—так говорил дежурный член бalezинского волисполкома, кестымский татарин Касимов, отстегивая крючок тужурки и садясь на прилавок возле длинного канцелярского стола.

— И откуда их такая прорва взялась? Конца краю нет. Едут и едут, не взирая на страшную погоду. Успевай только записывать да подводы подавать. Да откуда и подвод на них насобираешь...

Было около полуночи. На дворе бушевала мятель. Где-то снаружи бухали в снег доска за доской, срываемые порывистым ветром с дряхлой крыши.

То была пора организации Вотской автономной области в конце февраля 1921 года, и по трактовой дороге взад и вперед сновали представители Дебесс и Ижевска. Всех проезжающих бalezинский волисполком обязан был удовлетворять подводами.

Утомленный до-нельзя сутолокой и только что спровадивший последних пассажиров, Касимов, сняв и постелив на скамейку тужурку, положив под голову полено, растянулся во всю длину своего тела.

Едва успел он распрямить свои ноги, как в

сенях застучали и чьи-то руки ощупывали стены, очевидно, ища дверную скобку.

— А, какого чорта еще тут несет! — с сердцем и досадой произнес Касимов. — Пойди-ка, Евдоким, посмотри кто там.

Из-за заборки, почесываясь, вылез взлохмаченный старичек, сторож и рассыльный исполкома, и лениво направился к двери.

— Благословение господне на вас, — послышалось из сеней, и затем в канцелярию вполз поп Осип Утемов.

Евдоким сразу припал к его руке и облобызал.

„Экое чудище занесло“, — подумал Касимов и перевернулся на другой бок.

— Что скажешь, бачко? — кланяется попу сторож.

— Да, обидно стало, обидно. Во, как обидно.

— А что такое случилось?

— А вот дураком назвали. Не считаясь с духовным саном. Отец дьякон с псаломщиком дураком обозвали. Очень обидно.

Тут уже и Касимов заинтересовался, сел на своей скамейке. Поп хлопнул его по плечу, присел рядом.

— Вот что, друг Касимов. Ты веришь по своему, ты мусульманин и держишься крепко...

— Э, ошибаешься! Никакому чорту не верю. И не мусульманин я, а просто татарин.

— Но ведь у вас в Кестыме пять мечетей и

в них молятся по своему. Мечети процветают, муллы прибывают...

— Хана им скоро. Все таки чего же надо?

— Обидно, мой дорогой. Ни за что, ни про что дурака получил. От своего же отца дьякона. Да и исаломщик уже с ним заодно. Вот послушай, я ли не трудился, сколько хлопотал, чтобы хорошо жилось духовной братии, и вдруг такая неблагодарность. Итти уж мне больше некуда. Вот сюда и зашел на огонек... Знаешь Каменное Заделье?

— Ну, знаю,—отвечал угрюмо Касимов, не понимая, что хочет сказать ему этот старый поп.

— Там святое место и святой источник, так ведь?

— Мало ли что говорят.

— Я и хочу вот рассказать, как это место сделалось святым.

— Пожалуйста.

— Ты знаешь, попам в Балезине жилось не плохо. А все же хотелось еще лучше устроиться. Я и стал думать, как бы это доходы свои и церкви увеличить. Долго думал и надумал таки. Решил одно местечко около ближайшей к селу яотской деревушки об'явить святым, священным, ну и тому подобное, как это полагается в таких случаях. А у меня был сын студент, дока такой. Я и поделился с ним своею мыслью. Сын меня еще больше надоумил. Ты, говорит, об'яви, что здесь

Трифон вятский чудотворец жил, да на жернове отсюда по реке Чепце до г. Вятки уплыл. Вот и чудо. Для пущей важности старый жернов туда поставь. Ну там еще какое-нибудь трупелое дерево, под которым будто бы твой Трифон подвизался, да надо еще ключевую воду, что сам святой пил. Хорошо было придумано. Дело оставалось еще за благочинным. Я поехал к нему в Поллом, объяснил все, что так-то и так-то думаю поступить. Разумеется, получил полное одобрение. Только с одним он не согласился. Из-за этого то теперь меня дураком и называют. Эх, поступил бы иначе, и дураком бы не был.

— С чем же ваш старшой-то не согласился?

— Не подходящее место ты выбрал, говорит мне благочинный. У какой-то захудалой вотской деревни иметь святое место несуразно, говорит. И посоветовал объявить священным красивое место на берегу р. Чепцы у дер. Каменное Заделье. Так и сделали. Источник есть, маленькой струйкой течет, чтобы чайный стакан наполнить, с полчаса надо ждать. И жернов старый и трупелое дерево приставили. Потом уже само собой потекли богомольцы. Доходы наши сразу поднялись. Большую долю приходилось уделять благочинному. И чего только в наш святой колодезь не спустили глупые люди, — всякие ржавые медяки из табачных кисетов. Мне гадко становилось смотреть на эту воду... А денег накоплялось порядочно. Богомольцы стали отламывать куски гнилого

дерева, разбивали жернов, с благоговением разносили по домам. Приходилось нам все новые и новые деревья и жернова сюда затаскивать, лишь бы не иссякла благодать. Жернова доставлял со своей мельницы купец третьей гильдии Василий Александрович. Он же был поставщиком икон, привозил из городов. Да вот с иконами-то раз и вышел казус. Этот купец поивез нам вместо Трифона вятского (на коне, с белым голубем в руке), Георгия Победоносца, убивающего змия. Что делать? Праздник близится. В город съездить не успеешь. Порешили быстро. Где было написано Георгий, мы это подчистили, да и написали: Трифон. Вот и все. И так со всеми иконами. Разошлись за Трифона.

— Ах ты, такой-рассякой жулик, мошенник! — закричал ушедший уже было за свою заборку сторож Евдоким. — А я-то все ведь верил. И мой ведь Трифон змея убивает. Так это вовсе не Трифон, а Егорий.. Ух ты, долгогривый чорт! — уже орал освирепевший старик.

Татарин Касимов кое-как успокоил старика и попросил попа продолжать рассказ.

— Пришел конец моему беспечальному житию. Отец Василий Д. позавидовал моим доходам. Выхлопотал у архиерея разрешение на постройку церкви в Каменном Заделье, да там и поселился. Открыл свой отдельный приход. Я так и остался на бобах. Сейчас тоже там доходы, а у нас в Балезине пустота. Вот и ругают меня те-

пёрь дьякон с псаломщиком за то, что я в былые годы поддался благочинному и об'явил святое место вдали от своего села. Обидно, ах, как обидно!

Тяжело вздыхая, поп приподнялся и грузно пошел к дверям.

— А, чтоб шею тебе свернуть на лестнице, еретик ты этакий, — грозил кулаком вслед попу Евдоким. — Еще руки я лизал ему, окаянному. Тьфу!..

Январь 1924 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Проповедник Диомидов	3
Богослужение как оно есть	8
У попа и кулака—одни интересы	15
Поп-доносчик	27
Чудо	33
Комедия в I акте	37
Обидно	59

Ответственный по выпуску **Н. А. Мошкин.**

Техредактор **А. Г. Борисова.**

Корректор **В. Д. Шабердина.**

Сдано в производство 27 июня 1937 г., подписано к печати 26|VII 1937 г.
Объем 2 печ. л.. В 1 п. л. 38557 тип. знаков. Авторских листов 1,8,
формат бумаги 60x92 см (бумага фабрики Камского бумкомбината).
Формат набора 4³/₄ x 6³/₄ кв. Удмуртглавлит № А-2086. Заказ тип.
работы № 2119. Удмуртгосиздат № 66. Тираж 8000 экз. Цена 45 коп.

Гор. Сарапул, тип. изд-ва газеты „Красное Прикамье“

Цена 45 коп.